

## **ВОТ ОНА, ГИМНАЗИЯ!**

Жарким августовским днем 1914 года мои родители приехали в Таганрог. Пыльная привокзальная площадь без всякой зелени, беспорядочно застроенная деревянными лавочками, произвела неприглядное впечатление. Но солнце так сияло, южное небо было таким высоким и синим! И так хотелось поскорее увидеть мужскую гимназию, где для отца вскоре должен был начаться учебный год.

— Да вот она, гимназия! — показал кнутом извозчик, когда ехали с вокзала по Николаевской улице.

Направо, перерезая переулок, возвышалось белое здание. Сколько подобных гимназий в других городах! Но в этой учился Чехов...

После окончания в Москве института П. Г. Шелапутина моему отцу, Владимиру Алексеевичу Образцову, было предложено для работы несколько мест. Он выбрал Таганрог и был назначен преподавателем русского языка и литературы в Таганрогскую Александровскую мужскую гимназию. Южный город манил моих родителей — северян — теплом и солнцем, близостью моря. Отца привлекло здесь все, что было связано с именем Чехова.

...Остановились в гостинице. На другой день пошли на базар и поразились обилию фруктов. На земле высокими пирамидами лежали арбузы и дыни, их привозили из ближайших деревень на арбах; запряженных волами. Волы лежали в тени под арбой и медленно жевали... Загорелые молодайки протягивали арбузы и разглядывали мою молодую бледнолицую мать, еще не обожженную солнцем юга.

В ларьках по Гоголевскому переулку татары торговали виноградом и яблоками... Август 14-го года запомнился таганрожцам не только обилием плодов земных, но так же их необычайной дешевизной: Россия уже вступила в войну с Германией, вывоз сельскохозяйственных продуктов за границу был прекращен.

Первая мировая война уже становилась ощутимой реальностью и для такого глубокого тыла, каким в то время был Таганрог. Накануне войны в июне, на таганрогском рейде пне стояло 75 пароходов заграничного плавания, увозивших урожай донских и кубанских полей. В августе Азовское море опустело. Однако, в порт ежедневно приходили вагоны с зерном, которое выгружалось в длинные портовые амбары.

Еще продолжалась по инерции прежняя — мирная — жизнь... Но с того дня, когда на первой полосе «Таганрогского вестника» было напечатано огромными черными буквами одно только слово: ВОЙНА, — черная тень нависла над солнечным городом и проникла всюду.

Центром свежей информации о фронтовых событиях стала городская библиотека им. А. П. Чехова. В двери нового, недавно открытого, здания хлынул поток людей.

Уже через четыре дня после вступления России в первую мировую войну «Таганрогский вестник» сообщал:

«Со дня объявления мобилизации и особенно с объявления войны в городской им. А. П. Чехова библиотеке замечается особый наплыв публики, которая с жадностью читает газеты. К сожалению, последних библиотека получает очень мало, публике приходится дожидаться очереди целыми часами. В библиотеке вывешены карты России и Европы с обозначением сухопутных и морских путей, изданные в текущем году; около них постоянно толпятся посетители». (24 июля 1914 г.)

За 1914 год в библиотеке было зарегистрировано 40000 посетителей, музей им. А. П. Чехова, находившийся в том же здании, посетило свыше 10000 человек.

Война, война... Эта тема заняла прочное место на страницах «Таганрогского вестника». Здесь можно найти и индийское сказание о том, как зародилась война — какие события происходили в пещере Браммы, и воспоминания о патриотизме местных жителей в войне прошлого века:

«В 1855 году с Таганрогского рейда Таганрог подвергся бомбардировке английского флота. При проходе к рейду одно из английских судов вследствие переноса ночью одним прибрежным рыбаком правильных вех стало на мель и было взято в плен русскими. С этого корабля были сняты два адмиральских флага, которые с тех пор долгие годы, как трофеи, хранились в Успенском соборе». (10 сентября 1914 г.)

Война появилась на экранах кинотеатров, где только что прошла «потрясающая картина «Атлантик» или «Во власти океана». Картина представляет грандиозную катастрофу на море. В этой картине участвует до 3000 артистов, в восьми частях, 3000 метров».

О войне говорили лекторы — и местные, и приезжие. Так, уже весной 1916 г. газета сообщала, что Федор Сологуб прочтет в городском театре публичную лекцию «Россия в мечтах и ожиданиях». Содержание лекции — «неустанное прославление русскою литературою жертвенного подвига».

А по ночам на улицах и площадях города, на Воронцовском бульваре и на обрывах полиция продолжала задерживать «подозрительных лиц, не имеющих определенных занятий и квартир, хулиганов, проституток, попрошаек, мелких воров и вообще всякий сброд».

...В конце августа 1914 года из Харькова прибыли первые санитарные поезда. Под лазареты пошли городские училища, казармы, клубы, театр «Аполло»... В городе был объявлен призыв на действительную военную службу, начались занятия на курсах сестер милосердия.

В местной газете появилось сообщение, что над Батайском, по направлению к Ростову и Таганрогу, «пролетел аэроплан, освещенный электричеством».

«Таганрог всегда считался бездеятельным... Он был похож немного на Византию времен упадка. Да и по составу своего населения он был полувизантийским городом... Он был немного восточным городом, пользовался в изобилии дарами своего «географического положения», слушал оперу и устраивал скандалы, связанные с именами артисток...»

Так писала в статье «Застоявшаяся вода» газета «Таганрогский вестник» 2 июля 1916 года. Застоявшаяся вода всколыхнулась. Война изменила лицо портового города. Но занятия в гимназиях начались, как обычно, 1 сентября. На широких полях вокруг Таганрога шла, как всегда, вспашка под озимые посевы.

### **НА ХЛЕБНОЙ ТРАССЕ**

Первую квартиру мои родители сняли в доме №85 по Александровской улице (теперь улица Свердлова), принадлежавшем владельцу хлебной ссыпки Ольмезову. В просторном дворе, где сейчас размещается швейная фабрика № 10, тогда находились хлебные амбары. Из окон квартиры была видна длинная кирпичная стена сада мужской гимназии, прорезанная небольшой калиткой для преподавателей. Отправляясь утром на занятия, отец только пересекал наискось улицу — и входил в гимназический сад. Благодаря такой близости от гимназии, квартира в первое время устраивала.

В этом доме в феврале 1915 года родилась я.

— Мать очень слаба, — сказала отцу акушерка. — Надо бы дать ей вина. Принесли бутылку шампанского и мама отпила из бокала несколько глотков. Акушерка ушла. Ее звали Ольга Львовна Мирошниченко.

На следующий день пришли гимназисты, поздравили преподавателя с рождением дочери и приложили к поздравлению две коробки черной икры. Так — шампанским и зернистой осетровой икрой — было отмечено мое вступление в жизнь.

Шла масленица... В конце недели в городе намечалось большое масленичное гулянье.

«Таганрогский вестник» огромными буквами печатал объявление:

«Рыбная торговля П. А. Лазарева (Старый базар) предлагает икру зернистую осетровую (донскую), балык осетровый высшего качества, икру паюсную первые сорта (донскую), осетрину свежую и севрюгу...»/\*

Полным ходом работали зрелищные предприятия. В городском театре шли спектакли: «Любовь и долг», «Позор Германии», в театре «Аполло» — «Луч любви догорел».

Городская дума разбирала очередные вопросы, в числе которых были: просьба начальника порта об установке двух мачт с флюгером и анемометром для вновь открываемой гидрометеорологической станции; доклад председателя ревизионной комиссии о необходимости «избрать особый коллегиальный орган для заведывания городской библиотекой А. П. Чехова».

Но война оттесняла повседневные дела. В городе шел сбор пожертвований «на раненых и другие нужды войны», городской «благотворительный комитет» заготавливал сапоги для отправки их в действующую армию.

Зима 1914—15 г.г. была суровой и снежной. Таганрогский залив покрылся толстым льдом. В низовьях Дона выросли огромные ледяные горы, образовались ледяные заторы. В начале февраля в городе выпал густой иней, от его тяжести обрывались телефонные провода... В нашем доме день и ночь топили голландскую печь, в оконные фрамуги врывались метели...

Учителя гимназии ходили по домам, выясняли условия, в каких живут гимназисты. Обследования проводились в связи с прошениями гимназистов о пособиях.

В принадлежавшем отцу учительском календаре на этот учебный год тонким почерком записаны темы домашних работ и сочинений: «Что хорошего и дурного было в жизни героев повести Гоголя «Старосветские помещики?», «Почему Жуковский может быть назван романтиком?»

А рядом — беглые карандашные записи:

«Глушенков. Отец мобилизован. Лесная биржа теперь закрыта. Пособие 3 руб. в месяц. Брат в подготовительном классе.

Гриценко. Отец (подпрапорщик) убит. Детей 4. Мать на Курочей косе с тремя детьми. Там дед и бабушка занимаются земледелием».

...Война вызвала много новых жизненных вопросов. На последних листках отцовского календаря появились необычные темы сочинений: «Значение технических изобретений и усовершенствований в жизни людей», «Что разуметь под словами: техническое изобретение и усовершенствование?», «Полезны-ли технические изобретения и усовершенствования?»

С нетерпением ждали конца суровой зимы. Но когда наступила весна — сразу обнаружили неудобства нашей квартиры. Целый день во двор тянулись подводы, груженные зерном, шла погрузка мешков в амбары. С утра за окнами начинался шум: ржали лошади, мычали волы, ругались драгили.

Стоило распахнуть окно — в него врывались рои мух.

Александровская улица еще продолжала быть хлебной трассой и ссыпка Ольмезова была крупным перевалочным пунктом на этой трассе.

Начались поиски другой квартиры.

## ПОДВОРЬЕ СЕЛИВАНОВОЙ-КРАУЗЕ

Найти жилье в Таганроге в то время было нелегко. Отец долго ходил по зеленым улицам и переулкам, но ничего подходящего не попадалось. Наконец ему посоветовали зайти в подворье акушерки Александры Львовны Краузе (сейчас ул. Розы Люксембург, 46). «Мадам Краузе» — так называли ее соседи — встретила отца доброжелательно, но расспросив о семье, сразу нахмурилась: — Ребенок маленький?

Детей у Александры Львовны не было и, несмотря на свою профессию, она их не любила. Решила сначала познакомиться с матерью. Моя молодая застенчивая мама произвела благоприятное впечатление, вопрос решился положительно.

Переезжали в июле под проливным дождем. Мебель пострадала и, возможно, с тех пор письменный папин стол слегка покачивался на своих фигурных ножках. Но книги, уложенные в два больших сундука, остались невредимы, грузчики их еле-еле перетащили. Мое детство... Красный кирпичный флигель в глубине двора. Перед фасадом — палисадник с густыми кустами сирени. Сзади дома — большая терраса, вымощенная широкими плитами. Плиты от времени потрескались, но были светлыми, почти белыми. На террасе круглый год стоял длинный деревянный стол: летом здесь и завтракали, и обедали, и ужинали — жизнь проходила на свежем воздухе.

Возле террасы росло могучее абрикосовое дерево, дававшее такой урожай, что мы ели абрикосы до отвала, варили варенье и всегда еще много отдавали друзьям чудесных солнечных плодов. На одной ветке этого дерева были привязаны качели, дети постоянно раскачивались на них, и дерево это не тревожило.

Были во флигеле просторная кухня, ванная и другие удобства. Подача воды осуществлялась из кухни с помощью большого котла, который нагревался в случае надобности.

В палисаднике, едва сходил снег, хозяйничала мама. Каждый год по-новому устраивала клумбы, ревниво следила за тем, как принимается рассада. Ее стараниями были выращены стройные молодые акации в углах палисадника. Под этими акациями в двадцатых годах стояли дедушкины ульи. Я немного побаивалась пчел, но все же интересно было наблюдать за их жизнью, смотреть, как на закате они возвращались откуда-то и каждая пчелка проворно забиралась в свой улей... А первая качка! Полные блюдца меда — ешьте, дети! — такого золотого, такого душистого, и утонувшие в этом золоте кусочки вошинки, застрявшая пчелка... Это всегда было чудом.

... Окна детства — туда, в голубое, В чашу свежих цветущих ветвей. Рвутся в комнату, брызжут росой Над подушкой сонной моей. Тех ветвей драгоценно цветенье, Им увянуть, поблекнуть нельзя: Их касалась как фея сирени Золотым хоботком стрекоза...

Двор был небольшим, но очень зеленым. Сирень — простая и персидская — закрывала хозяйственные постройки и два других домика поменьше. По всему двору пробивались сочные степные травы: подорожник, паслен, молочай, одуванчики; качались на высоких стебельках пушистые цепкие липучки — из них можно было плести отличные корзиночки. Утром по всей изгороди палисадника раскрывала голубые граммофончики повитель...

Сама хозяйка жила в большом доме окнами на улицу. Мне нравилось в этом доме широкое венецианское окно рядом с парадной дверью.

По рассказам мамы, Александра Львовна была женщиной властной, крутого нрава. Смутно помню ее высокую крупную фигуру в утреннем халате: летом она каждое утро осматривала свое детище — фруктовый сад.

Этот сад находился в самой глубине двора, за нашим флигелем. Здесь росли яблони, абрикосы, сливы, было много и цветов: штамбовые розы, пионы, тюльпаны... За своим хозяйством Александра Львовна очень следила, собственноручно опрыскивала и подрезала деревья, ухаживала за цветами.

Садовая калитка всегда была на замке, сюда разрешалось входить только мужу хозяйки — Александру Артемовичу Мирошниченко. Присяжный поверенный (или банковский служащий?) он был гораздо мягче своей супруги. Худошавый, небольшого роста, плохо передвигаясь на больных ногах, он как-то был незаметен. Трудно представить его героем романа, но факт остается фактом: Александра Львовна отвоевала его у своей родной сестры, Ольги Львовны Мирошниченко — той самой акушерки, которая помогала мне появиться на свет.

Обе сестры были известными в городе акушерками./\* Они остались врагами на всю жизнь. Ольга Львовна никогда не бывала в нашем дворе, я совершенно ее не помню. Свою фамилию она оставила до конца жизни. Точно так же сохранила фамилию первого мужа и Александра Львовна — «мадам Краузе». Уже далеко не все в городе помнили, что она — та самая Саша Селиванова, которая была ученицей Чехова в его последние гимназические годы.

Отец Саши умер, когда она была маленькой девочкой, и воспитывал ее дядя. Уезжая из Таганрога, Селиванов обычно поручал племянницу Павлу Егоровичу Чехову, так что Саша порой жила в семье Чеховых.

Несколько эпизодов из этой жизни, по рассказам Александры Львовны, записал А. А. Мирошниченко.

«Антон был мальчуган, любивший выдумывать всегда что-либо смешное, проказник на все руки. Жертвой таких шуток бывали и его друзья. Так, Антону удалось найти человеческий череп, и он решил поугадать свою приятельницу. Глазные впадины и отверстие для рта залепил красной папиросной бумагой, череп наткнул на палку, в середине зажег свечку — и, когда Саша только заснула, Антоша берет эту «голову Вурдалака» и, склонившись над постелью, шепчет таинственным глухим голосом: «Саша, Саша...». Девочка открывает глаза, ужас овладевает ею. Вся, дрожа, с диким криком забивается она под кровать, и уже Антоше приходится сожалеть о своем поступке. Он уговаривает ее, уверяет, что это не был мертвец, что он сам говорил с нею... Но бедная девочка больше часа сидела в уголке и ничем не могли ее успокоить»./\*

Александр Артемович подтверждает так же, что однажды в гимназические годы, Антон схватил носовой платок Саши и расписался чернилами на уголке плитки. Саша, «большая аккуратистка», страшно рассердилась, но Антон заверил ее, что со временем этот платок будет дорого стоить. Платок с автографом Чехова исчез, но легенда о нем жила в Таганроге много лет.

По воспоминаниям А. А. Мирошниченко, Александра Львовна, живя в Славянске, в 1889 г. вышла замуж за некоего Краузе и в 1896 г. овдовела. Эта подробность делает понятным обращение к ней Чехова:

### **Бессердечная немка!**

Когда увидите с Машей, то передайте ей, что лент Вы не купили... О, вдова! Как Вы легкомысленны! Сколько сердечной скорби причиняет мне Ваше поведение!..

О, вдова, вдова! Умоляю Вас, исправьтесь!

Ваш старый учитель А. Чехов». (25 ноября 1897 г.)

Иронический тон письма позволяет предполагать, что Чехов не очень одобрял выбор своей ученицы. Возможно, он успел познакомиться с Краузе во время короткой остановки в Славянске в 1887 году?

Лето 1888 года Чеховы собирались провести в Славянске.

Чехов писал об этом Александре Львовне: «... Моя семья хочет провести это лето поближе к Вам, то есть на юге... Не можете ли Вы путем расспросов Ваших знакомых, поклонников и почитателей... узнать, нет ли в Славянске, или около, подходящего для моей семьи помещения?..» (6 февраля 1888 года)\* Чеховы не поехали в Славянск. Но Александра Львовна приезжала к ним в Мелихово.

«Однажды, проезжая на лошадях со станции, Александра Львовна провалилась в речку. Пришлось где-то остановиться у попадьи и переодеться. Попадья была низенькая и толстая, Александра Львовна — высокая и стройная, поэтому юбка попадьи пришлась ей только до колен. Появление Селивановой в Мелихово в таком виде вызвал гомерический хохот Антона Павловича». (Воспоминания А. А. Мирошниченко).

Зачем она ездила в Мелихово?.. Возможно, акушерка-фельдшерица консультировалась у доктора Чехова по вопросам медицины? Или, вернувшись в Таганрог и благоустривая свое подворье, интересовалась опытом семьи Чеховых в садоводстве? Может быть, сама отвозила в Мелихово саженцы роз, клубни пионов?

«Белая пиона расцвелась» — есть запись в мелиховском дневнике Павла Егоровича. Не из Таганрога ли переселилась в Подмоскowie эта пиона?

Переселение таганрогской флоры с помощью Александры Львовны было вполне возможно: ее владения граничили с лучшим в городе садоводством Комнено-Варваца. Если сады Лакиер славились в Таганроге фруктами, то братья Комнено-Варваца специализировались на цветах. Еще в сентябре 1916 года в «Таганрогском вестнике» печаталось объявление:

«В садоводстве Вл. и Ал. Комнено-Варваца имеются в продаже луковицы для грунта, гиацинты, тацеты, тюльпаны, декоративные и цветущие растения, букеты, венки, гирлянды и др. изделия из живых цветов».

К осени в этом садоводстве выращивались особые сорта необыкновенно крупных красивых хризантем, а в феврале здесь уже можно было приобрести ветку цветущей сирени...

Знаменитое садоводство отделял от сада Краузе только легкий дощатый забор. Возможно, такое соседство способствовало процветанию и нашего двора. Какая роскошная белая сирень благоухала весной возле нашего погреба! Какие удивительные каприфолии обвивали навес над нашим крыльцом! Я всегда любовалась этими оранжевыми колокольчиками и больше таких никогда нигде не встречала. Они остались там, в моем детстве, в царстве цветов...

Кроме любви к цветам у Александры Львовны были еще два пристрастия: карты и вкусная еда. Все знавшие ее таганрожцы рассказывают, что она была азартной картежницей. Почти каждый вечер в ее доме собиралась тесная компания: часами играли в преферанс или в лото. Зимой — в комнатах, летом — на террасе, расположенной позади дома. В эту компанию входили сослуживцы Александра Артемовича и их жены. Играли не на деньги — выигрыши были копеечные. Просто это было любимым препровождением времени, как сейчас для многих домино. Это было естественным завершением дня: ломберный стол на террасе... Такой же, как в последнем действии «Чайки»...

Игра затягивалась иногда на весь вечер, но ни ужина, ни чая не бывало, разве изредка. Александра Львовна не была хлебосольной хозяйкой, хотя сама, бывая в гостях, любила

угощаться. Торты в ее доме никогда не переводились: их преподносили многочисленные клиенты.

Где-то в тайниках этого дома хранились и драгоценные реликвии. Отец не брал в руки карт и не участвовал в играх на террасе, но иногда заходил к Александре Львовне и о чем-то с ней беседовал.

Однажды он вернулся домой в отличном настроении и сразу вошел в столовую, где я играла на полу.

— А ты знаешь, ведь Чехов и стихи писал! — неожиданно сказал он мне, весело шагая вокруг стола.

Я уставилась на него. По правде говоря, мне было тогда все равно, что написал Чехов кроме «Каштанки», но папе хотелось немедленно поделиться какой-то новостью, а дома никого больше не оказалось. Продолжая шагать вокруг стола, он залпом прочитал мне басню о зайцах и китайцах. Очевидно в тот день Александра Львовна показала отцу альбом, где была написана эта басня, и папа впервые прочитал веселые строки, увидел бисерный чеховский почерк...

После смерти Александры Львовны в 1924 г. А. А. Мирошниченко передал альбом Литературному музею, вернее, чеховской комнате, которая тогда создавалась.

Хозяйством в доме мадам Краузе заведовала пожилая украинка Мария Михайловна Гончарова, или попросту тетя Маша. Почти целый день стояла она у плиты, готовя обеды и другие яства по заказу хозяйки и часто жаловалась моей матери на постоянное недовольство Александры Львовны. Подружившись с мамой, тетя Маша многому ее научила, в особенности — как варить украинский борщ и готовить мясные блюда. Она была отличной поварихой.

Интерес к еде у Александры Львовны никогда не пропадал. Проходя из сада мимо нашей кухни, она всегда заглядывала в окно: а что у вас сегодня готовится? Мама запомнила ее большие сильные руки. Этими руками она любила тискать и подбрасывать меня, если я оказывалась поблизости. Но сама я этого, конечно, не помню...

### **ЗНАНИЕ — ВЫСШЕЕ БОГАТСТВО**

В начале 1920 года в Таганроге установилась советская власть. От того времени остался в памяти штрих: на крыльце нашего дома сидят двое новых людей: красноармеец и рядом с ним молодая женщина в гимнастерке. Вечерет, в лучах заходящего солнца на голове женщины ярко горит красная косынка...

... Частного домовладения больше не было. В просторном доме, где жила Александра Львовна, вскоре поселилось несколько семей. Мы тоже переселились в три комнаты — остальная площадь нашего флигеля была отдана еще двум семьям.

Можно было бегать, играть и прятаться по всему двору: калитка в заповедный фруктовый сад стояла настежь открытой. К сожалению, лишившись хозяйского глаза, он быстро пришел в запустение...

Двор стал многолюдным и шумным. Армяне, греки, евреи, поляки, украинцы — все уживались здесь, и я с детства привыкла к тому, что мир всегда должен быть таким разноязыким, разноплеменным. Нас окружало смешение всех наречий, но все подавлял таганрогский жаргон, который сохранился еще с чеховских времен:

— Скильки время?

— Я за тобой соскучилась...

— Они с меня смеются...

— Проходите в залу!

— Тикай с дороги!

- Чи ты сказился, чи шо?
- Ах ты жуличка!
- Пора курей загонять...
- Обратно дождь пошел...
- Это две большие разницы...

Отец очень боялся, что мы с братом привыкнем к таким оборотам, но мы, очевидно, с молоком матери усвоили русскую речь и говорили правильно. Что касается профессий наших соседей, то разобраться в них было нелегко. Самыми понятными были три человека: молодой рабочий бывшего Русско-Балтийского завода Алексей Беляков и музыканты из оркестра Молла маленький флейтист Виноградов и высокий худой барабанщик Дашкевич.

Алексей Беляков и его жена Варя жили в нашем доме. У нас были хорошие добрососедские отношения. Когда Алексей возвращался с работы, от его синей спецовки пахло металлом, машинным маслом... Где-то там, за городом, был другой мир, непонятный и незнакомый.

Музыкантов мы видели издали. Когда они появлялись во дворе — один с черным футляром, другой — с огромным барабаном через плечо — это было внушительно. Флейтист Виноградов много лет был нашим управдомом. Когда мне приходилось бывать в городском саду и слушать, как из ярко освещенной раковины, где размещался оркестр, льется музыка Чайковского, Листа — всегда занимала мысль: неужели наш Виноградов, который ругается из-за задержки квартплаты, и тот, с флейтой, в розовой раковине, один и тот же человек? Как это получается?

Концерты, в программу которых входила классическая музыка, любимая таганрожцами, пользовались неизменным успехом. Воля дирижера каким-то чудом сплачивала воедино и скромных любителей-дилетантов, и молодых талантливых музыкантов, многие из которых впоследствии получили известность в больших городах страны. И когда В. Г. Молла не спеша проходил по солнечным улицам в сопровождении огромной собаки! — вслед ему раздавался почтительный шепот: — маэстро...

Летом мы часто бродили по городу вместе с отцом. Благодаря этим пешим прогулкам, радиус нашего детства захватывал все большее и большее пространство. Педагог по призванию, отец много занимался нами, детьми, несмотря на большую нагрузку в учебных заведениях. Он преподавал русский язык и литературу в средней школе, Народном Университете и Вечернем Металлургическом рабфаке.\*

Как я теперь понимаю, работоспособность его была исключительной. На листке его учительского календаря есть запись: «Лишь знание — высшее богатство». Эти слова были девизом его жизни. Он все время занимался самообразованием, с помощью словарей и учебников освоил английский, читал литературу на французском и немецком. Знание языков было нужно ему для работы над диссертацией.

Тема диссертации осталась мне неизвестной, но по сохранившимся рукописям можно судить, что касалась она вопросов педагогики. В записях отца есть характеристики работ немецких профессоров педагогики — В. Штерна и Э. Шпрангера, ссылки на труды итальянских педагогов. Ключом к раскрытию темы диссертации можно считать следующую цитату, которой открывается рукопись:

«В наши дни невозможно продуктивно работать в той или иной области знаний, не следя за успехами данной науки в других странах. И мне кажется, что назрела пора для создания новой педагогической дисциплины — сравнительной педагогики, изучающей теорию и практику воспитания в странах, устанавливающей однородные и различные явления в



этой области и объясняющей это сходство и различие в зависимости от тех или иных условий социально-экономической жизни человечества». (Проф. Е. Г. Кагаров, «Современное педагогическое движение в Западной Европе и Америке».- Москва, 1928 г.) Диссертация осталась неоконченной.

С малых лет я и младший брат Николай/\* знали наизусть многие стихи Пушкина и Лермонтова, басни Крылова, «Лесной царь» Жуковского, читали «Записки охотника» Тургенева, «Детство и отрочество» Толстого, «Детские годы Багрова внука» Аксакова, «Без языка» Короленко... Николай увлекался романами Фенимора Купера, повестями Майн Рида и Жюль Верна; знал торжественные песни «Илиады» в переводе Гнедича. Но, пожалуй, больше всего ему нравилась «Песнь о Гайавате». Воображая себя индейцем, он постоянно мастерил себе лук и стрелы, головные уборы из куриных перьев и распевал на собственный мотив «Трубку мира»...

В длинные зимние вечера мы усаживались вместе с отцом на старом диванчике и он сам читал нам что-нибудь вслух. В столовой было не очень тепло, но всегда уютно. Над большим столом горела керосиновая лампа под белым матовым абажуром, в углу дремала высокая финиковая пальма.

В простенке между окнами из темной рамы смотрел Мольер. Непонятно было, зачем этот француз отпустил такие длинные седые локоны? Однажды я спросила об этом и узнала, что в то далекое время мужчины носили парики, да еще напудренные. С тех пор понятие «парик» для меня было связано с Мольером. Больше я еще ничего не знала о нем. А он внимательно глядел на меня и чуть-чуть усмехался, как будто знал обо мне очень много... Когда наступало лето, по утрам ходили к морю, на Банный спуск. Пляжа здесь тогда еще не было, просто тянулся вдоль крутого обрыва берег и на нем, поодаль друг от друга, располагались редкие купальщички.

Купались с правой стороны от спуска. Налево, уткнувшись в глинистый обрыв, лежали просмоленные черные баркасы, между ними сушились тяжелые суровые сети. От сетей шел острый запах рыбы, солнца и моря... Море было теплое, светлое. Рядом с нами нередко шлепали в воде гуси, мелькала мелкая рыбешка, над морем неторопливо махали крыльями чайки. Берег устилала выброшенные прибоем ракушки; поднимешь ракушку — в ней шевелится скользкая сердцевина:

— Улитка, улитка высунь рожки! Море было живое, населенное...

Иногда спускались по каменной лестнице, уходили в порт. Здесь стояла тишина. Далеко в море врезались узкие молы с литыми петровскими пушками на концах. Можно было пробежать по длинному молу до самой пушки — и вдруг почувствовать себя в открытом море. Слева тянулась и таяла в голубоватой дымке полоска берега...

Перерезаны оврагами,

Берега вдали встают

Будто охрой и крапплаками

Чуть прописанный этюд.

То все глина, сланец, камень там,

То песчаная коса...

В них застряли кости мамонта,

Диких скифов голоса...

Так же просто, как в открытое море, можно было выйти в открытую степь — она подступала вплотную к городу. Стоило только пройти шлагбаум, обогнуть кирпичную стену небольшого заводика — папа говорил, что это котельный завод — и мы в степи. Высокое чистое небо, поля, над полями — макушки курганов... Под ногами — мягкая

пыльная дорога, ящерицы, ускользящие в придорожные кусты...• Тишину нарушали только проносащиеся мимо поезда. Они принадлежали другому миру. От этих выходов в степь остались строки:

...Хорошо загорелой девчонкой  
Длинный поезд в степи повстречать И,  
махая цветами вдогонку,  
По встревоженным шпалам бежать.  
Только травы вздохнут и отпрянут,  
Ветер волосы вскинет, как плеть,  
Только рельсы горячие станут,  
Замирая, звенеть и звенеть...

Папа с интересом относился к моим первым стихотворным опытам, подсказывал, что надо исправить. Но исправления были мне еще не под силу.

### НАЧАЛО ПУТИ

Строчки требовали уединения, самым удобным местом был наш палисадник, заросший сиренью. Сидишь на шаткой тенистой скамейке, а сверху, из густой листвы спускается паук и путается в паутине строк...

В этом палисаднике отец часто фотографировал меня и брата. Если бы кто-нибудь догадался снять его вместе с мамой! Так и вижу сосредоточенное папино лицо, рыжеватую бородку, пенсне с черным шнурком — совсем, как у Чехова! — и рядом — сияющие мамины глаза, золотую корону волос вокруг ее головы. С отцом было связано все, что относилось к миру книг, все сложное, неосязаемое. Мир материальный, мир вещей, нас окружавших, принадлежал матери. Ей подчинялись печи, которые не дымили, когда их растапливала мама. Ей подчинялись скудные запасы пропитания в скудном 21-м году. Она управляла стихией быта. Вставала мама всегда рано и нас приучила любить раннее утро, когда город просыпался от призывных звонких голосов.

— Мо-ло-ка-а, мо-ло-ка-а! — протяжно и тонко выводили молодайки на высоких возах, запряженных волами. Возы медленно двигались по улице, останавливаясь у ворот. Из домов, сбрасывая остатки сна, выходили женщины, выдергивали из воза длинную соломинку и протыкали для пробы жирную запекшуюся пенку на кувшинах, упрянтанных в солому.

Во дворах просыпались голосистые петухи, крякали утки, тьякали дворняжки. В прохладной зелени, пронизанной солнцем, жужжали пчелы... И, наконец, над городом всплывал заводской гудок. Он заглушал на несколько мгновений все утренние голоса и звуки, и эти мгновения были самыми главными. На часах-ходиках тотчас передвигались стрелки, подтягивались гири — и улицы оживали: привычным скорым шагом по ним шли рабочие. Трамваев еще не было, на завод ходили пешком.

Днем на улицах было пустынно и жарко. Окна прикрывались от солнца ставнями, из-за ставень шел кофейный дух: по давней традиции таганрожцы в полдень пили кофе. Изредка на безлюдной улице раздавался оглушительный возглас: — Сахарно мо-ро-же-но! Отличное мо-ро-же-но! Из ворот проворно выбегали ребята, зажав в ладонях пятаки, и окружали мороженщика с тачкой.

Не боясь жары, обходили улицы ремесленники.

— Точить ножи — ножницы! — уныло тянул старик с тяжелым круглым точилом на плече.

— Ведра, кастрюли починяем! Ведра, кастрюли починяем! — бодро оповещал хозяек другой, помоложе, с рулоном железных обрезков за спиной.

Потребители находились в каждом дворе. И эти кустарные бытовые услуги на дому казались такими же извечными приметами нашего города, как старушки — семечницы на углах переулков. Пристроившись на низких стульчиках с миской жареных подсолнечных семечек на коленях, они часами дремали или думали долгую-долгую думу... Они были так

же безмолвны и неподвижны, как те каменные плоские статуи, которые еще попадались в степи.

Кто и когда поставил эти статуи? Сколько им лет? Неизвестно...

Несмотря на жару, цветы в нашем палисаднике пышно разрастались каждое лето. Главной заботой была вода. Для питья шла дождевая вода из цистерны, которая имелаась в нашем дворе, как и в других. Тратить эту воду на поливку растений было недопустимой роскошью. Воду для цветов привозил водовоз — на лошади, в бочке. Она была горько-соленая.

Если водовоз не приезжал — ходили к ближайшей водокачке./\* Здесь на закате солнца выстраивалась длинная очередь. Плата была по копейке за ведро. Большинство женщин носили ведра на коромысле, р. ни мерно покачивались в такт шагам. Сверху в ведрах плавали большие деревянные кресты — чтобы не расплескивалась вода.

Носить ведра в руках тяжелее, поэтому поливали цветы осторожно, стараясь сберечь каждую каплю горько-соленой «машинной» воды.

Напоив все злаки, мама облегченно вздыхала и улыбалась. Тяга к земле была властной, подспудной чертой ее характера. Северянка, она полюбила солнце, юг, терпеливо выращивала во дворе акации, а в комнатах — финиковые пальмы.

Родиной моей матери был Великий Устюг. В детстве мне казалось, что этот старинный город стоит где-то на краю света. Дома там не каменные, а деревянные, зимой вровень с крышами лежат сугробы, а летней ночью светло, как днем. И люди там умеют украшать серебряные ложки затейливым тонким узором. Такие ложки всегда лежали на нашем столе, на них стояли буквы КЖ.

—Мама, что это за буквы?

—Это моя монограмма.

—А что такое монограмма?

Историю монограммы я узнала значительно позже... В 1893 г. у жительницы Великого Устюга Александры Помяловой родилась девочка. Окрестили дочь Клавдией. Помялова отдала ее в чужие руки: она была прачкой-поденщицей и средств на содержание ребенка не имела. На склонах горы вокруг златоглавого Ивановского монастыря лепились лачуги великоустюгской бедноты. Здесь бушевали белые метели, здесь стоял густой вологодский говор на «о». Две старухи, ютившиеся в одной из лачуг, за какие-то гроши взялись присматривать за ребенком...

Помялова могла бы отдать девочку в монастырский приют, и тогда не миновать бы Клаше монастыря, где монашки и белицы день и ночь склонялись над пяльцами: вышивали бисером и гладью, стегали узорчатые теплые одеяла, выполняя заказы богатых устюжан. Монастырские изделия давали большой доход. Недостатка в рабочей силе не было: пополнение поступало каждый год.

Но Клашина жизнь сложилась иначе... Она подрастала, старухи по-своему любили ее. — Уж больно ты баская! — говорили они ей (баская — красивая), хорошая.

Вскоре по городу прошел слух, какая девочка подрастает на Ивановской горе. Когда Клаше было лет шесть, в лачугу пожаловал купец Василий Иванович Жарких с супругой. Жарких были бездетны и решили взять на воспитание девочку. Клаша понравилась им по всем статьям. Клашу удочерили, отдали в гимназию. Училась она хорошо, приемные родители заботились о ней. Не теряя времени, они начали подбирать жениха, такого, чтобы можно было передать бакалейную лавку в надежные руки. Но ухаживания подвыпивших купчиков не нравились гимназистке, на все варианты она отвечала отказом.

Вскоре в гимназии появился новый преподаватель — В. А. Образцов. Через год воспитанница Жарких стала его невестой. В 1910 году, когда Клаша окончила гимназию, они поженились. Эта свадьба была событием в маленьком городе, где все знали друг друга.

Для такого жениха, как Владимир Алексеевич, в городе было столько невест — а он взял незаконнорожденную! Белокаменная Ильинская церковь на берегу Сухоны была полна народа. Семнадцатилетней невесте запомнилось все, как в тумане... Когда менялись кольцами, вдруг оборвалась нитка жемчуга, надетая поверх белого атласного платья. Все ахнули, бросились подбирать мелкие жемчужины: плохая примета! Но молодые не верили приметам...

Жарких дали формальное согласие на брак, однако, все отношения с молодыми после свадьбы были прерваны: приемная дочь разрушила все планы. По этой же причине Клаша получила не все приданое, которое заблаговременно складывалось в тяжелые кованые сундуки. Но серебро украшенное знаменитой северной чернью, осталось ей: ведь там стояла ее монограмма.

Прожив в Устюге еще год, мои будущие родители покинули Север. Следующие три года они прожили в Москве, где отец продолжал свое образование, как педагог, в институте Шелапутина, который окончил весной 1914 года.

...Таганрог стал для мамы второй родиной. Шли годы, она уже стала для окружающих не «снегурочкой», а Клавдией Васильевной, но по-прежнему вспоминала северные леса и реки... И теплую, щедрую землю юга тоже любили. Как хорошо было проснуться, потянуться к окну и увидеть: мама уже встала, возится с цветами...

В школу я пошла сразу в третий класс. Наша школа № 10 находилась, как и теперь, в здании бывшего коммерческого училища. Мне очень нравилось это здание: большие светлые окна, просторные коридоры, широкие лестницы.

Состав преподавателей в те годы был очень разнородным: вместе с таганрожцами работали учителя учебных заведений, эвакуированных в начале мировой войны из Риги и других городов Прибалтики. /\*

Никаких традиций в средней школе еще не существовало. Нашими настроениями управляло чувство свободы и жажда перестройки мира на новых началах. Мы знали, что наш учитель рисования — Владимир Александрович Васильев — участник революции 1905 года, получил образование в Париже. Его урок обычно превращался в диспут на темы сегодняшнего дня. С Владимиром Александровичем можно было беседовать на самые животрепещущие темы!

Преподавательница географии Милитина Павловна Филевская рассказывала нам о странах, где она побывала. Дочь известного историка Таганрога, П. П. Филевского, она много путешествовала вместе с ним, многое видела своими глазами.

К сожалению, она совершенно не умела держать дисциплину в классе — ее интересные рассказы тонули в сплошном шуме, и сама она становилась ученицей на своих уроках.

Лучше всего я чувствовала себя на уроках литературы. Георгий Митрофанович Кочанов всегда ставил мне за сочинения хорошие оценки и внизу — скрипичный ключ вместо подписи: такая у него была привычка. «Разгром» Фадеева, «Бруски» Панферова — все было ново, интересно. Но больше всего меня захватил «Железный поток» Серафимовича. Среди других книг, которые мы «проходили», это произведение выглядело необычайным, почти фантастическим.

Какими яркими, достоверными были страницы, овеянные дыханием революции! Дух захватывало от мощного, целеустремленного движения целой лавины людей. Это могло быть только тогда, только однажды... Разве в обычной жизни возможен такой поток?

В старших классах русский язык и литературу вел бывший член городской Думы Алексей Николаевич Лицын. Грек по национальности, он был полиглотом — знал в совершенстве 12 языков, в том числе латинский и греческий. Обладал феноменальной памятью: ученики рассказывали, что он начинал урок с того самого слова, на котором его прервал звонок в прошлый раз. Ходил почти в лохмотьях, в засаленном черном пиджаке, но в полы этого пиджака было зашито много золотых вещей: их владелец не решался ни на минуту расстаться со своими сокровищами. В характере Лицына было много странностей и самой отталкивающей была клеptomания. Руки его всегда что-то ощупывали, шарили, и в тех домах, где он побывал, обычно не досчитывались некоторых вещей...

Здесь, в школе, за старыми черными партами, изрезанными перочинными ножами прежних поколений, рождались первые привязанности, дружеские связи... После школы мы бегали в кино смотреть боевики с участием Мэри Пикфорд и Дугласа Фербенкса, бывали в цирке, когда там выступал Владимир Дуров со своими зверями. И, конечно, не пропускали вечеров художественной самодеятельности в школе.

Здесь, на сцене, шла мелодекламация под старое пианино, звучали апухтинские строки:

Шах королю, шах королеве — И пешки сняли короля...

Один старшеклассник выступал с таким стихотворением:

На свете странного немало, В Пекине есть такой закон: Вокруг посольского квартала Проход китайцам воспрещен...

Другой декламатор исполнял «Сакья-Муни». В притихшем зале неожиданно возникал далекий чуждый образ бродяги, пред которым «бог, великий бог лежал в пыли...» Этот образ волновал, запоминался...

Что же такое искусство?

В сильные морозы взрослые утром смотрели на каланчу: если был вывешен красный флаг, значит сегодня  $-25^{\circ}$ , занятия в школах отменяются. В школу не идти!.. Но в полдень все-таки можно было выскочить во двор кататься на санках, падать в пушистые сугробы... И жмуриться от проблесков синевы... Времена года были похожи между собой: все были полны влаги и синевы.

Весной переулки превращались в бурные реки: по ним неслись, устремляясь в море, вешние воды, акации погружались в них по колени.

Летом на город обрушивались живительные грозы, вонзая в горизонт отточенные молнии. Как хорошо потом пахло зелены! Как влажно мигали крупные звезды!

Осень была тихой, туманной. По вечерам из порта доносились протяжно прощальные гудки пароходов... Даже было слышно, как зябко поскрипывают сваи, или это только казалось? А когда туман неожиданно рассеивался — над головой пролетала звезда:

...Блеснет — зеленая, большая,

Почти касаясь тополей,

И вдруг исчезнет, оглушая

Внезапной близостью своей.

И никогда не сморишь после,

С какой сорвалась высоты?

Быть может, счастье — тоже отблеск

Упавшей наискось звезды ?

Звезды — это вечером. Днем приходилось выполнять мелкие поручения.

— Наташа, сходи-ка за керосином!

Захватив железный бидончик, я шла в ближайшую лавку на углу Донского переулка. Лавка была неказистая, внутри темновато и тесно. А в окошке была загадочная деталь: круглое отверстие, которое по-видимому, не закрывалось никогда. Кто это придумал? Зачем? Для чего?

Гораздо позже я узнала, что эта лавка принадлежала Митрофану Егоровичу Чехову. Нищий, проходя мимо лавки, просовывал в отверстие руку и получал подаяние. Старожилы еще помнили набожность Митрофана Егоровича./\*

Запомнилась еще одна лавка поблизости от Старого базара: булочная, в которой мы покупали турецкие кисло-сладкие булочки с изюмом. Эти серые длинные булочки были какого-то необыкновенного вкуса. Удивительным был так же высокий пышный белый хлеб: можно было сдавить его в лепешку — и он поднимался, как ни в чем не бывало...

За прилавком стояли черноглазые турки в красных фесках с кисточками. Это было так давно, что порой сомневаешься: было ли? Но вкус кисло-сладких булочек невозможно забыть. Значит было...

### **В ШКОЛЕ БЛОНСКОЙ**

Все свободное от уроков время я отдавала рисованию. Зарисовывала все что попадалось на глаза: цветы, яблоки, стакан с чаем... Иногда заставляла позировать брата в головном уборе индейца. Старательно копировала иллюстрации в книгах.

Отец поощрял мое увлечение. Бывая в Москве, привозил мне бумагу, акварельные краски, кисти... Однажды, вернувшись из Москвы, он положил передо мной большой альбом: — это тебе прислал Бакушинский.

Анатолий Васильевич Бакушинский — искусствовед, известный исследователь палехской живописи — окончил институт Шеллапутина вместе с отцом. Лицо его было мне давно знакомо по выпускной фотографии, висевшей над письменным столом отца: бритая голова Бакушинского возвышалась над всеми, он сидел как-то боком, чуть улыбался и выглядел непринужденней всех. Я знала, что между ним и отцом идет переписка, папа получал от него все новинки литературы, выходившие в то время в Москве.

И вот этот альбом! Он назывался: «Рисунки резьбы по линолеуму». Издание было прекрасное, но рисунки все — черно-белые. А я так любила цвет в живописи! Очевидно, Анатолий Васильевич хотел направить меня по другому пути, но черно-белый альбом меня испугал...

Видя мои слезы, папа отвел меня в рисовальную школу Блонской. Эта школа находилась недалеко, почти на углу нашей улицы и Красного переулка. Здесь стоит и сейчас старый дом с мезонином. От дома тянулся кирпичный забор с облупившейся облицовкой, из-за забора свешивались на улицу ветви яблонь, слив... Стоило тронуть зеленую деревянную калитку — и сразу открывался чудесный мир... В саду, под тенистыми деревьями, за низкими мольбертами полукругом сидели дети. Перед ними на грубо сколоченном столике стоял натюрморт: сегодня — дыня и арбуз, завтра — яблоки и виноград, или дымчатые сливы ренклоды. Натюрморты менялись, но плоды всегда были свежие, только что сорванные с дерева. Над ними кружились пчелы.

Между мольбертами ходила художница Серафима Иасоновна Блонская. Высокая, с прямыми темными волосами, закрученными на затылке в узел, она всегда носила широкую синюю блузу. В глубоких карманах этой блузы лежали цветные карандаши, которыми она правила наши ученические работы. Когда Серафима Иасоновна

присаживалась к моему мольберту и доставала свой карандаш, я знала: сейчас произойдет чудо и на бумаге оживет то, чего я совсем не замечала в природе.

Этот сад, наполненный воздухом и солнцем, был для меня землей обетованной. Здесь, под открытым небом, нас окружали все краски юга, плоды и цветы сами излучали солнечный свет и говорили детям: — Смотрите, как мы прекрасны! Как прекрасна земля наша!

Это воспитание любви к природе, чувства цвета и света было самым драгоценным, что давала нам школа Блонской.

Все, что составляло предмет урока, обязательно освещалось солнцем: скромная рисовальная школа была подлинным классом пленэра. Серафима Иасоновна постоянно внушала нам: — В природе нет черного цвета! Черный цвет выдумали те, кто не видит солнца и не понимает, что все вокруг нас освещено солнечными лучами и потому имеет множество оттенков. Черный предмет, на который падает солнечный луч, уже перестает быть черным: в нем есть и лиловые, и синие, и зеленые тона — все, кроме черного!

На наших палитрах не было черной краски.

В школе было две группы: в младшей имели дело только с акварельными красками и рисовали натюрморты, в старшей работали над портретом и начинали писать маслом. Рисовали мы и животных: собак, кошек, кроликов, однажды даже лошадь. Она стояла смиренно, не обращая на нас внимания.

Занятия в школе были двусменные, плата взималась ничтожная — кажется, 25 копеек в месяц. Ребята из детдома ничего не платили, ученики, проявившие особые способности, так же освобождались от платы за обучение. В старшей группе Серафима Иасоновна иногда

проводила беседы по теории живописи, анатомии, объясняла пропорции человеческого тела, законы перспективы и светотени. Беседы возникали стихийно, никакого плана не существовало.

Бывшие ученики Блонской помнят какая атмосфера увлеченности отличала наши занятия. Серафима Иасоновна умела удивительно деликатно подходить ко всем ученикам, заставить каждого поверить в свои способности. Все любили строгую, но справедливую учительницу, за суровой внешностью которой чувствовался сильный характер. Вглядываясь в строгие, уже стареющие черты, я верила и не верила: неужели с нее написан тот портрет? Неужели то была она?

Портрет висел среди других картин в большом зале музея, который помещался в одном здании с библиотекой имени Чехова. Из рамы прямо в зал смотрела молодая женщина. В глазах ее были негодование, боль, отчаянная решимость... Рука сжимала скомканный листок бумаги: все кончено! Под портретом стояло: «Письмо». Худ. Синоди-Попов.

В лице той женщины было столько страсти! А Серафима Иасоновна двигалась так ровно, смотрела на нас так спокойно... Но бывали минуты: темные глаза ее вспыхивали, лицо озарялось каким-то другим, незнакомым светом. Да, это все-таки была она!

Племянница художницы, Галина Артемьевна Чумаченко рассказывает:

«С. И. Блонская родилась 21 сентября 1870 года в гор. Верхне-Днепровске. Отец ее, Иасон Иванович Блонский, был юристом, мать

— из семьи Стрельнева — профессора медицины Харьковского университета.

Блонские приехали в Таганрог, когда Серафиме Иасоновне исполнилось пять лет. Шутники говорили, что у Блончихи дочери или вакханки, или мадонны. Серафима Иасоновна принадлежала к мадоннам: высокая, прямая, гладко причесанная, без тени рисовки. Она и одевалась очень своеобразно: носила темные и широкие хитоны и сандалии с переплетами. А в карих глазах была женственность и грусть. Может быть,

тоска по материнству, которого она была лишена. В семье она сумела поставить себя независимо, и все в доме считались с ней. Рано начав рисовать, она наметила себе жизненный путь — стать художницей. После окончания с золотой медалью Таганрогской женской гимназии, С. И. училась в Киевской художественной школе Н. И. Мурашко, а затем в Петербургской Академии художеств.

...Не знаю, получала ли С. И. стипендию, но знаю, что жила она по-спартански, не имея ничего лишнего. И эта суровость по отношению к своему быту осталась у нее на всю жизнь...

После окончания Академии Художеств Серафиму Иасоновну посылают на казенный счет в Италию совершенствоваться. Италия ее пленила. Письма того периода были такими счастливыми, так полны радости бытия, природой, искусством. Там, в Италии, С. И. начала изучать итальянский язык и до конца дней своих любила его и читала по-итальянски свободно.

Две из ее картин приобрел Британский музей. Одна картина — «Девочки». Набросок этой картины, вернее, первый ее вариант, был у С. И. в Таганроге. Вторая картина — «Гуси». Это белые гуси на фоне серого неба и серого Азовского моря./\*

В одну из петербургских зим С. И. тяжело заболела брюшным тифом. Ее выхаживал изумительно преданно и терпеливо ее одноклассник — художник Александр Михайлович Леонтовский. После тифа, весной, С. И. приехала с коротко остриженными волосами, похожая на мальчика, сильно похудевшая с обручальным кольцом на руке. «Я вышла замуж за Леонтовского» — сказала она\*/\*.

Картину «Девочки» («Вербная суббота») я тоже знала. Она занимала центральное место в городском музее, около нее всегда были люди. Эта картина была дипломной работой Серафимы Иасоновны в Академии. Сюжет картины таганрогский: ученицы женской Мариинской гимназии в большом гимназическом зале. За окнами зала светило нежное весеннее небо и это сочетание юности и весенней природы создавало в картине особое праздничное настроение. Написана картина в Таганроге, в застекленном мезонине того дома, к которому примыкала рисовальная школа.

На годичной конкурсной выставке в Академии Художеств работа молодой художницы была отмечена золотой медалью и получила отличные отзывы в прессе: ее сразу отметили, как «...картину, полную светлого, жизнерадостного настроения, свежести и истинной поэзии»./\*

Две другие замечательные картины — «Гуси» и «Маки» я увидела впервые в длинном, не очень светлом помещении школы, где проходили занятия зимой и в ненастную погоду. Увидела — и остолбенела. Как удивительно просто! Ведь именно этих гусей я столько раз видела на Банном спуске, когда они входили в море вместе со мной. И вода у берега была именно такая — серая, мутноватая, вовсе неинтересная... А на этих гусей глядишь — и глаз не оторвешь.

Совсем иначе были написаны «Маки». На солнечной зеленой лужайке колышутся горячие прозрачные цветы, и девочка в красном платье, протягивающая к ним руки, выглядит таким же пылающим маком. Сколько воздуха, сколько света может вместить небольшое полотно!

Серафима Иасоновна была замечательным колористом, солнечный свет был движущей силой ее творчества. Она была главным лицом в школе и нередко вела занятия одна. Но рядом с ней иногда мелькала сумрачная тень Александра Михайловича Леонтовского. Высокий, с широкими прямыми плечами, пропахший махоркой, он нелюдимо смотрел из-под густых нависших бровей. Летом всегда ходил босиком, носил холщевые штаны и



холщевую рубаху. Руки его с коротко остриженными квадратными ногтями были черны от земли — все работы в саду и на огороде лежали в основном на его плечах.

Украинец, родом из Полтавы, Леонтовский был из кадровой военной семьи. Родители мечтали видеть его офицером, но, вопреки воле отца, он ушел из дома и поехал учиться в Петербург, в Академию Художеств...

В школе он вел занятия в основном в старшей группе. Те из учеников, в чьих работах остались его резкие, энергичные поправки, успели ощутить огромный талант этого художника. Как педагог, он предъявлял к учащимся высокие требования, старался внушить молодежи свою страстную, пылкую любовь к природе. Иной ученик, долго промучившись над рисунком, наконец считал его законченным. Вдруг за его спиной останавливался Леонтовский и отрывисто бросал: — Хорошо начато!

Девушке, рисовавшей куст сирени, Александр Михайлович пытался втолковать, что она не понимает этот куст, что нужно забыть всё на свете, видеть только эту сирень, войти в нее, вжиться — тогда, может быть что-то получится...

Помимо живописи, Леонтовский знакомил с лепкой. В гончарной мастерской, которая находилась рядом с классом, лепили из глины ящериц и других мелких животных, выделывали несложные сосуды.

Старшие ученики с большим интересом слушали лекции Леонтовского по истории живописи, его рассказы о великих мастерах прошлого. Сам он очень любил Рембрандта. В его мастерской висело на стенах несколько копий рембрандтовских полотен, в оригинальных работах Леонтовского ощущалась та же борьба света и мрака... Особенно интересна в этом отношении небольшая картина его кисти, которую в семье особенно берегли: в темных осенних сумерках светится окно какого-то дома, перечеркнутое обнаженной веткой дерева. Светится так загадочно, так маняще, что забыть его невозможно...

Если эпиграфом к творчеству Блонской могут служить строки Фета:

«Вокруг светло. На праздник Рима Взглянули ярко небеса — И высоко — неизмерима Их светло-синяя краса» —

то осеннее окно Леонтовского вызывает в памяти другое - стихотворение этого поэта — «Светоч»:

«Ловец, все дни отдавший лесу, Я направлял по нем стопы; Мой глаз привык к его навесу И ночью различал тропы. Когда же вдруг из тучи мгlistой Сосну ужалил яркий змей, Я сам затеплил сук смолистый У золотых ее огней...»

Рисовальная школа двух художников-энтузиастов действительно была светочем в Таганроге 20-х годов. В конце жизни С. И. Блонская высказывала сожаление, что все же немногие из ее учеников развили свои способности, стали профессионалами./\* Но все, кому посчастливилось учиться в этой школе, навсегда сохранили ту радость, какую давало общение с подлинным большим искусством, с природой.

Вскоре после смерти А. М. Леонтовского в 1927 году школа прекратила свое существование.

Семья Блонских была большой и дружной. У Иасона Ивановича и Александры Ивановны было семь дочерей: Евгения, Ариадна, Виктория, Валентина, Серафима, Анна, Людмила.

Блонские обосновались в Таганроге в то время, когда семья Чеховых уже покинула Таганрог. Тем не менее, Антон, оставшийся в Таганроге, «любил ухаживать за гимназистками» (М. П. Чехов «Вокруг Чехова») и, видимо, был знаком со старшими Блонскими — ученицами женской Гимназии.

Евгения Иасоновна Блонская вышла замуж за приятеля Чехова — Дмитрия Тимофеевича Савельева. Чехов навестил ее в Таганроге во время своего «степного путешествия» и сообщил в Москву о ее невеселом житье в тот момент.

Дочери Ариадны Иасоновны — Ада Артемьевна и Галина Артемьевна Чумаченко обладали незаурядными литературными способностями. Ада Чумаченко стала писательницей, жила и печаталась в Москве.

Валентина Иасоновна училась в гимназии вместе с Сашей Селивановой. Они были ровесницами (А. Л. Селиванова родилась в 1865 г.), их связывала тесная дружба. Однако, Валентина Иасоновна не смогла простить своей приятельнице ее брака с А. А. Мирошниченко, порвала с ней всякие отношения и стала другом ее обиженной младшей сестры — Ольги, которая была скромнее, и проще.

И. И. Блонский работал в Таганроге старшим нотариусом. В семье Блонских родным языком был украинский, дома между собой все говорили по-украински.

Серафима Иасоновна обращалась с мужем подчас повелительно, они понимали друг друга без слов, стоило ей сказать: — Чуешь? — и он сейчас же угадывал и исполнял ее просьбу или желание. Говорили, что в жизни Серафимы Иасоновны была другая большая любовь, может быть, от той поры и остался нам ее портрет с письмом в руке? Но этого уже никто никогда не узнал...

### **ПО НОВОЙ ДОРОГЕ...**

1929 год прошел в Таганроге, как год памяти Чехова. В городе проводились литературные вечера с докладами о творчестве Чехова и чтением его рассказов.

Много посетителей привлекали библиотека и музей им. А. П. Чехова. Двери читального зала были всегда гостеприимно открыты, там стояли цветы, сияли на солнце высокие шехтелевские окна... Мы, подростки, чувствовали особое уважение к этой библиотеке и, перешагнув порог, разговаривали здесь только шепотом. У входа в читальный зал всегда сидел строгий благообразный старец с длинной белой бородой: отец Сергея Дмитриевича Балухатого. Не покидая своего места, он слушал лекции о Чехове, которые иногда читал в этом зале его сын. Присутствие необычного швейцара настраивало на серьезный лад...

Отец был в праздничном настроении. Как секретарь комиссии по проведению юбилейных мероприятий, он часто выступал на вечерах, посвященных Чехову, собирал подробности его биографии.

Однажды он принес мне хорошую литографию — «Стога» Левитана. Картина мне очень понравилась и много лет висела над моей кроватью. Так началось мое знакомство с Левитаном.

В этом памятном юбилейном году в музей им. Чехова потоком шли материалы о жизни и деятельности писателя. Среди них особый интерес представляют воспоминания А. Н. Сурата. В непосредственном рассказе человека, ставшего прототипом героя «Перекатиполье», возникает неожиданный образ доктора Чехова, сходный с образом древнего пророка, привыкшего иметь дело с массами людей и терпеливо разъясняющего им правду жизни. Подготавливая текст статьи о Чехове, отец снял рукописную копию с этих воспоминаний./\*

15 июля 1929 года, в день 25-ой годовщины со дня смерти Чехова, состоялось торжественное открытие Домика Чехова.

«Пропускная способность домика, конечно, не рассчитана вместить того множества посетителей, которые явились в день открытия музея на гражданскую панихиду», — писала газета «Донская правда» 18 июля 1929 г. — «Поэтому литературный митинг был

перенесен на воздух — в посаженный возле домика вишневый сад... От имени собравшихся были посланы телеграммы О. Л. Книппер-Чеховой, М. П. Чеховой, МХАТу, Московскому музею Чехова и наркому просвещения А. В. Луначарскому. В заключение состоялось выступление струнного оркестра под управлением В. Г. Молла».

На этом празднике Таганрога с докладом, посвященным памяти Чехова, выступил мой отец.

Через несколько дней он взял меня с собой и я побывала в Домике Чехова в числе его первых посетителей.

Уже в этом же «чеховском» году папа дал мне прочитать «Степь». Повесть показалась мне длинной и скучной. Ничем не примечательный мальчик слишком долго едет по однообразной равнине. Окружающие его люди тоже неинтересны. А как они говорят! «Хиба це овес?» «Дулю мне под нос...» «...по степу шатається...» Все это слышишь каждый день, зачем об этом писать? И вообще в повести ничего особенного не происходит.

То ли дело — «Портрет Дориана Грея!» Вот это вещь! Перед ней надолго поблекла для меня вся прочая литература...

Папа был огорчен, что «Степь» до меня «не дошла». Впрочем, одно место в повести запомнилось: дорога, по которой Егорушка уезжал из города. Этой же дорогой мы ездили иногда летом в Карантин. Так же слева дымил кирпичный завод, блестело море внизу, под обрывом... А справа виднелось «уютное зеленое кладбище, обнесенное оградой из булыжника...» Правда, вишневых деревьев там уже не осталось и среди редких акаций и тополей свободно возвышались кресты из великолепного черного мрамора. На мраморе отливали золотом высеченные греческими буквами незнакомые греческие фамилии. Попадался и белый мрамор: задумчивые ангелы у подножий крестов. Складки их одеяний засыпала серая пыль, у некоторых были отбиты тонкие пальцы — но изваяния сохраняли крылатую легкость и красоту, и, казалось, будут грустить здесь вечно...

Извозчичья пролетка мягко катилась по пыльной дороге, вдали, врезаясь в море, зеленела рощица. Но дорога была уже не та. Почти рядом с рощей поднимались заводские корпуса и трубы, а вдоль дороги выстроились новые кирпичные дома. Вверху на каждом фасаде стояло: 1926 год. Дома эти выглядели одиноко и неуютно среди степного простора, как будто оторвались от города и дерзко забежали вперед, как будто вовсе не были связаны с улицами, которые остались позади.

Широкие и прямые, эти улицы расходились, подобно лучам звезды, из одного центра — соборной площади. Здесь стоял храм с золочеными куполами, которые жарко горели на солнце и были далеко видны из окон поездов, бегущих по Ростовской линии. В метрическую книгу собора когда-то была внесена запись о том, что у купца Павла Егоровича Чехова родился сын Антон.

Если улицы поражали строгой прямизной, то переулки, наоборот, пересекали их под углом, как бы окружая площадь улицы, уходили в степь, переулки обоими концами упирались в море. Звездообразная планировка города-крепости позволяла легко ориентироваться и казалась незыблемой. Прочно стояли добротные дома, овеванные дыханием моря. Прочно лежали и тротуары, кое-где выложенные синеватым корсиканским камнем: этот камень привозили в давние времена заокеанские пароходы в пустых трюмах, как балласт...

Но соборная площадь уже не ощущалась, как центр города. Стены собора и громады торговых складов на площади обветшали, площадь зарастала высокой сорной травой... И все-таки собор еще жил: его скрытым двигателем оставался хор. Город, слышавший итальянскую оперу, город музыкальной культуры, требовал музыки, пения. И если

оркестр Молла в городском саду привлекал любителей классической музыки, то собор объединял любителей хорового пения.

В конце 20-х годов здесь пел отличный хор с октавой, регентом был неудавшийся милиционер. Изгнанный из рядов советской милиции за постоянное пьянство, он нашел свое призвание в соборном хоре. И хотя регент тоже нередко появлялся в нетрезвом виде, ему все прощалось, как герою чеховского рассказа «Художество».

Обладая абсолютным слухом, незадачливый блюстителю порядка не терпел ни малейшей фальши и немедленно карал провинившихся. Во время службы вдруг раздавалось грозное шипение:

— Нн-у-у, с-су-ка!! — Это значило, что сфальшивили жена или дочь регента, певшие в этом же хоре. Знатки наслаждались. Церковь была полна «болельщиков», и они, забывая порядок, поворачивались лицом к хору, спиной к алтарю.

Прижавшись к церковной ограде, доживал свой век Старый базар: на шатких деревянных столиках продавались фрукты, вяленая рыба, в больших корзинах на земле шевелились лещи и судаки — еще живые: «уснувшую» рыбу таганрожцы не привыкли покупать.

А вокруг кипела другая жизнь, в ярко освещенных клубах шли концерты художественной самодеятельности.

Что вы смотрите так подозрительно на заплаты одежды моей?.. — вопрошал рослый парень, трагически рванув свою ветхую рубаху. В зале гремели аплодисменты — номер пользовался неизменным успехом.

В темных переулках тихо тренькали балалайки, сыпалась подсолнечная шелуха — и вдруг откуда-то свежо и бойко всплывала песня:

...В те дни

много я видала, много я слыхала,

Много я узнала,

Шахта номер три...

Наконец, в городе появилось радио: в некоторых домах слушали Москву в наушниках./\* Еще не было водопровода во дворах, еще не прошли по улицам первые трамваи — но призывные мелодии Москвы уже доходили до нас. Отцу так же очень хотелось провести радио, в его книжном шкафу появились катушки медной проволоки, радиодетали... А затем рядом с ними — большой слиток металла. Зернистый на изломе, розоватого цвета, он казался мне совсем неуместным рядом с темными томами энциклопедии Брокгауза. Но папа берег этот слиток. Может быть, его подарили рабфаковцы? Иногда они заходили к отцу с разными вопросами, и меня удивляло, как эти взрослые, уже семейные люди находят время для вечерних занятий? Но отец уважал их энергию и жажду знаний. Очевидно, между ними существовал взаимный контакт: ведь папа сам учился всю жизнь... Радио не пришлось провести. Весной 1930 года, когда я окончила семилетку, папа умер от операции рака. Надо было устраивать жизнь по-новому. С помощью рабфаковцев меня приняли в школу ФЗУ. 1 сентября началась моя новая жизнь. Что такое завод? Полная неизвестность... С непривычки поднялась очень рано, до заводского гудка. Надела синий халат, туго стянула на затылке красную косынку...

А в комнатах все еще было по-прежнему. На письменном столе лежали папины рукописи, листки неоконченной диссертации. В книжном шкафу, за стеклом, пламенел таинственный кусок металла. От него исходило какое-то излучение....

Пешком, той же дорогой, какой ходил наш сосед Алексей Беляков, пошла и я. Мама провожала меня до Смирновского переулочка, до углового серого дома — он стоит там и сейчас. Этот дом — последняя точка окружности, в которую вписалось мое детство.

Центр этой округности — наш уютный флигель во дворе Селивановой-Краузе вдруг поблек, начал заволакиваться туманом...

Впереди, под ясным осенним небом, простирался пустырь, зябко жались друг к другу палатки цыганского табора.

...Полотнища палаток рваных

Напоминали крылья - птичьи.

До самой осени цыгане

Еще стояли здесь привычно.

Дым от костров валился смрадный —

То жгли охапки трав сухих.

Тянуло чем-то безотрадным

И неприкаянным от них.

И взгляд старухи исподлобья,

И с ней — мальчонка полуголый —

Все промелькнуло мимо, чтобы

Растаять где-то в дымном поле...

Мимо табора пролегла неширокая, крепко утопанная дорога. Не та, по какой уезжал из города Егорушка. Не та, по которой мы весело ездили в рощу Карантин. По этой новой, недавно проторенной, дороге, быстрым уверенным шагом шли рабочие в первую смену. Шли в одиночку, шли вдвоем и втроем - их было много, очень много — настоящий Железный поток...

Этот поток подхватил меня, и, подчиняясь общему ритму, я двинулась в мир технических усовершенствований и изобретений, где прошла почти вся моя дальнейшая жизнь.

1973-1976 г.г.

Таганрог